

НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ ПОД ГРИФОМ
<СЕКРЕТНО>

НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ



ЛИХОЛЕТЬЕ

ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРАЦИИ
СОВЕТСКОЙ
РАЗВЕДКИ

Мемуары под грифом «секретно»

Николай Леонов

**Лихолетье: последние
операции советской разведки**

«Алисторус»

2015

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Леонов Н. С.

Лихолетье: последние операции советской разведки /
Н. С. Леонов — «Алисторус», 2015 — (Мемуары под грифом
«секретно»)

Автор этой книги – человек легендарный. Николай Сергеевич Леонов – генерал-лейтенант КГБ в отставке, доктор исторических наук, академик РАЕН, друг Рауля Кастро и Че Гевары, личный переводчик Фиделя Кастро во время его визита в 1963 году в СССР, многие годы руководил работой информационно-аналитического управления советской внешней разведки. Он не понаслышке знает о методах работы спецслужб СССР и США, о спецоперациях, которые проводило ЦРУ против Советского Союза. Основываясь на своем личном опыте Леонов показывает, как работала существовавшая в последние годы СССР система принятия важнейших политических решений, какие трагические ошибки были допущены при вводе советских войск в Афганистан, предоставлении помощи так называемым развивающимся странам, а также в ходе проводившихся при Горбачеве переговоров о разоружении.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Леонов Н. С., 2015
© Алисторус, 2015

Содержание

Начало пути	5
Первые шаги в разведке	23
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Николай Леонов

Лихолетье: последние операции советской разведки

Начало пути

Довелось мне родиться летом 1928 года в неприметной рязанской деревушке с красивым названием Алмазово, расположенной на самом стыке трех областей: Рязанской, Тульской и Московской. Мужики вечно шутили, что у нас самые горластые петухи: их слышно сразу в трех губерниях. В 20 верстах от деревни раскинулось Куликово поле. В хорошую погоду от околицы можно было увидеть золоченый купол обелиска на Мамаевом кургане.

Вся моя жизнь точно уложилась в рамки советского времени. Первый свой крик я издал под копной сжатой ржи на собственном поле в последний год свободного крестьянствования. На следующее лето наша пашня уже была включена в колхозные поля. В отставку же я ушел после известных событий августа 1991 года, когда рухнула старая власть и началось новое летосчисление. 63 года, пробежавшие между этими датами, и являются предметом моих размышлений в этой книге. «Как раз на жизнь свобода опоздала», – сказал поэт про моих современников.

Точная дата моего рождения так и осталась неизвестной. В разгар жатвы родителям было некогда ехать в соседнее село, где был сельсовет, для регистрации новорожденного, а когда управились с урожаем и стали выправлять метрики, то, чтобы избежать штрафа за просрочку, назвали первое попавшееся число, поближе ко дню визита в сельсовет. Так и определили мне 22 августа как день рождения.

Моя мать Леонова Наталья Владимировна была обыкновенной крестьянкой. Когда я появился на свет, ей было 22 года и на ее плечах лежали заботы по поддержанию хлопотного середняцкого хозяйства. У нас были своя лошадь, корова, в хлеву всегда хрюкала пара свиней. Во дворе толпилось десятка полтора овец да кудахтали пара дюжин кур. Отец Леонов Сергей Михайлович, тоже из крестьян, исправно делал всю мужицкую работу, но с приходом колхозного строя решил поменять свою судьбу. Он уехал учиться на рабфак в Бобрик-Донской, там вступил в коммунистическую партию, а вскоре и обзавелся новой семьей. Возвращаться в деревню – к навозу, квасу, соломе – ему уже не хотелось. Он развелся с матерью, и я только пять десятков лет спустя узнал, что он служил в армии, дошел до чина подполковника и завершил свои дни в Минске военпредом на тамошнем автомобильном заводе. Никакого влияния на мое формирование он не оказал. Но его членство в партии едва не стоило мне жизни. Он строго-настрого запретил крестить меня, а поскольку сам был единственным коммунистом в деревне, то и я оказался единственным нехристом. Никто из бабок не соглашался приглядывать за мной, когда мать работала в поле, полагая, что я навлеку беду на дом. Однажды соседка, уступившая просьбам матери, во время разыгравшейся грозы в ужасе стала пятиться от окна, споткнулась о большую кадку, в которую сливали на пойло скоту остатки от обеда, квасную гущу, воду от мытья посуды и пр. Бабка выронила меня, завернутого в лохмотья, прямо в кадку и убежала из дому. Опомнилась она уже на улице, опрометью влетела назад в избу и вытащила из мутной жижи полуживого нехристя. Меня откачивали как утопленника, но сидеть со мной впредь наотрез отказались все. Я стал беспризорником.

Матери-разведенке с мальцом на руках в деревне стало жить трудно и неудобно. В 1929 году прошли устрашающие раскулачивания. В Алмазове, где на 120 дворов не было ни одного батрака и ни одного крупного хозяина, все-таки были раскулачены две семьи. Дикое

разорение крестьян, отправка в ссылку ближних соседей, отчаяние и ужас баб, вывших от бесилия, окончательно убедили мать в том, что жить по старым крестьянским традициям уже не придется. Она списалась со своей теткой, давно работавшей в Москве трамвайным кондуктором, и перебралась в столицу, поступив на работу на ткацкую фабрику. Скоро она забрала меня к себе, и с 1931-го по 1934 год я проходил школу воспитания в детских садах текстильщиков. Жили мы вчетвером – бездетная тетка с мужем и я с матерью – в крошечной девяти-метровой комнатухе в Третьем Павловском переулке.

Я рос не только непоседливым, шаловливым, но, может быть, и просто невоспитанным мальчишкой – как многие дети разрушенных семей. В детском саду я «внедрил» в быт регулярные футбольные игры, в которых вместо мяча использовалась чья-нибудь шапка. Когда в конце недели наши мамы приезжали, чтобы взять нас на выходной, то они бурно возмущались, увидев состояние шапок своих отпрысков. Расследование выводило карателей на меня, и наступало неотвратимое наказание.

В коммунальной квартире я как-то забил хозяйственным мылом носик чайника, принадлежавшего нелюбимым соседям, и те долго не могли сообразить, что происходит с их чаем. Я был наказан ремнем и посажен в темную уборную, но даже из-за двери продолжал хулить весь белый свет неизысканными словами. Пришлось матери отправить меня обратно в деревню к другой своей тетке.

В розвальнях, когда мы ехали со станции в Алмазово, я уловил обрывки разговора мужиков о том, что враги убили Кирова и что теперь «жизнь будет становиться все хуже». Незаметно мы втягивались в политику. Мужики стали шушукаться по углам, отчего даже пацанам становилось страшно. Повсюду нам стали мерещиться невидимые вредители. Мы, мальчишки, искали в рисунках отрывного настенного календаря скрытые фашистские знаки, образы разных гадких животных, видя во всем происки «шпионов».

Но люди никак не хотели расставаться с добрыми старыми привычками и обычаями. Пленень недоверия, подозрительности едва тронула толщу крестьян. Поэтому четыре года, прожившие в деревне до 1938-го, остались в моей памяти как самые светлые и безмятежные. Я никогда не был так сознательно близок к земле и к своему народу, к его традициям. Не будь этих лет, я бы считал себя безнадежно обездоленным. Ну где теперь увидишь такие проводы старого года, когда напротив села, на другой стороне речушки, ребятня натаскивала огромную копну соломы, которую поджигали, и она озаряла на добрую версту вокруг заснеженные поля и все Алмазово. Называлось это «сжиганием старого года» со всеми его невзгодами, лихостями и неудачами. Мальцы с визгом носились вокруг кострища, парни и девушки с хохотом играли в снежки, барахтались в сугробах. Деревенский гармонист творил чудеса на своей потрепанной, но безотказной гармонике. И на все это безоглядное веселье с радостной грустью смотрели изо всех изб глаза мужиков и баб и их отцов-стариков.

Горя мы не ведали, каждая пора года приносила свои радости. Появлялись первые проталинки на Пасху, и начинали мы катать крашеные яйца. Чье дальше укатится, тот и выиграл. Или бились острыми концами пасхальных яиц. У кого скорлупа лопалась, тот проигрывал и должен был отдать святое яичко победителю. Бывало, целый вечер просидишь у лукошка, выбирая яйцо с дополнительным наростом на конце. Церковь в селе уже не работала, попа сослал неизвестно куда, а традиции теплились: всюду пекли куличи, готовили сладкую пасху.

Потом интерес мальчишек захватывал весенний смотр техники и инвентаря. Колхоз наш был не особо мощный, но и не тщедушный. Недели за две до сева на большой луговине напротив домика правления колхоза выставлялось все наше нехитрое хозяйство. Рядами блестили плуги и бороны, пузатились веялки и крупорушки, на генеральском месте возвышались молотилки. Задрав оглобли в небо, замирали телеги, водяные бочки, увешанные залатанной и приведенной в порядок сбруей. Ну чем не праздник? Если бы не страсти 1937–1938 годов

и не война, может быть, и сложился бы новый уклад, утвердились праздники, до которых деревня так охоча...

Пахота и сев проходили на одном дыхании. По работе мужики успевали основательно соскучиться и вкалывали на совесть. Обедали на борозде, отдыхали только из-за лошадей. Управлялись всегда в срок, не помню вздохов из-за ушедшей в лето без посева земли.

Но главное в деревне – жатва. Это всем праздникам праздник. Ничто не доставляет человеку такой радости, как вид результатов своего труда. Жатва и трудна, и празднична, как никакая другая страда в сельской жизни. Вся деревня переселялась на гумна и оставалась там до конца жатвы. В домах скрипели только старики да старухи, готовившие харчи, нянчившие малых детей да приглядывавшие за скотиной.

Мы дневали и ночевали на гумне. Рабочей силы в деревне было достаточно, нас отовсюду гоняли, чтобы мы не мешали и не попали случайно под вилы. Нас отсылали в ближайшие лощинки с родниками за водой либо поручали утаптывать солому в огромных ометах, чем мы и занимались до изнеможения, захлебываясь от восторга.

Когда же солнце садилось и машины вынужденно останавливались, вся молодежь шла на речку купаться. Речушка в нашей деревне крошечная, но ее старательно с весны запруживали, и она разливалась длинным и глубоким озерцом, в котором с гоготом и визгом плескалась шумная стая алмазовских парней и девчат. Для них это была лучшая награда за тяжелый день, за четырежды просоленные рубахи, за тысячи остей от пшеничных колосьев, которые резали и кололи до боли даже порядком задубевшую кожу рязанских хлеборобов. Сама собой появлялась гармоника, и попеременно сыпались частушки – озорные от парней и задумчиво-мечтательные от девушек. Гомонили допоздна, чуть не до зари, а с солнышком опять вилы в руки, и снова шли гулять снопы по их острым зубьям из полевых копен до зева молотилки.

К осени, когда завершалась уборка, вся деревня начинала готовиться к большому празднику конца полевых работ. Какой бы председатель ни был в то время в колхозе, он всегда выделял быка, пару-тройку баранов, поросенка для организации общего стола. Женщины занимались праздничной кухонной работой. Они варили студень, чудесную требушиную колбасу, в косы заплетали промытые и сочившиеся жиром кишки, которые на огне превращались в золотистые лакомства, жарили на сале печенку попеременно с кусками застывшей крови. Само мясо мы испокон веков пользовали только для первых блюд и никаких разносолов из него не делали, а вот из субпродуктов выходили все деликатесы, на которые бабы были мастерицы.

Пили тоже от души, но закусывали так сытно, что пьяных я не помню. Гулянье с песнями и плясками длилось два-три дня. Бывало, осенняя распутица начисто изолировала деревню от всех: ни проехать, ни пройти было по нашим раскисшим дорогам и лощинам; телефона, электричества, радио не было. Хлестали с неба серые дожди, стыла в окружавших деревню буераках набрякшая водой земля, а на взгорке, занятом деревней, клубились веселые дымы над трубами, наяривала гармоника и переливались песни.

Хозяйство было почти натуральное. Уже поздно осенью доставали со дна реки снопы конопли, положенные туда на отмокание, просушивали их, потом клали в мялку, вычесывали костру и готовили волокно к прядению. Всю зиму неутомимые женщины пряли либо коноплю, либо шерсть. На домашних, почти первобытных станках зимними вечерами ткали они длинные серые полотна, которые по весне расстилали бесконечными дорожками на лугу под яркими лучами солнышка на отбелку. Чего только из этих холстов не делалось: и онучи к лаптям, и простыни, полотенца, и нижнее белье, штаны и рубахи для живых и саваны для усопших. Матушка-конопля с ног до головы одевала непритязательных односельчан. Теперь ее запрещено сеять: она, видите ли, содержит в своей пыли наркотики.

Из шерсти всю зиму вязали носки, варежки, но главным образом она шла на валенки. В начале декабря в деревне появлялась бригада шабашников-валяльчиков, которые снимали у кого-нибудь избу и валяли валенки для всего села, а над деревней несколько дней клубился

пар и разносился тяжкий дух распаренной шерсти. Редкий хозяин не заказывал двух-трех новых пар. Для невест и молодых женщин обязательно делали белые, парадные, изящные вале-ночки, детям катали маломерки, а главным товаром были черно-серые рабочие валенки, кото-рые сразу, еще не надеванные, подшивали двойной подошвой, чтобы они помогали хозяину вынести любые морозы. Мужики, у кого голова была на плечах, все умели шить обувь, шапки и дубленые шубы и тулупы. Редко кто щеголял в суконных пальто.

Так и шла моя свободная донельзя жизнь до того момента, когда пришлось идти в школу. Первой учительницей была Валентина Матвеевна – красивая, умная и добрая, какими должны быть все учителя. Она меня встретила очень тепло, знала, что я «безотцовщина», к тому же и мамы не видел больше года. Доброты мне всю жизнь не хватало, поэтому я старался отвечать на ее проявления тем же. Учился я истово, подбадриваемый теткой и другими взрослыми.

А тем временем моя мама вышла вторично замуж за выходца из нашей же деревни, с такой же фамилией Леонов, работавшего на железной дороге около города Электросталь. Родилась моя первая сестра Тоня, и меня решили забрать из деревни в город.

Живо помню теплое утро раннего лета 1938 года, когда меня посадили в телегу и повезли на железнодорожную станцию. Инстинктивно чувствовал я, что закатилось мое детство и не видать мне больше вольной деревенской жизни. Я сидел на задке телеги и со сладкой болью прощался с Алмазовом, купавшимся в петушиных песнях, подпиравшим небо столбами своих дымов и постепенно таявшим в утреннем тумане. Я не знал тогда, что человеческая память хранит любимые образы лучше, чем цветная фотография. И до сих пор не только вижу то утро, но и слышу его, чувствую запах гречихи соседнего поля и неизбывную боль прощания с родиной, с укладом, который уже не вернется.

Последующие десять лет, до 1947 года, я прожил в новой семье. Отчим Леонов Кон-стантин Устинович оказался на редкость добрым, умным человеком, он принял меня как род-ного сына, и я не чувствовал никакой ущербности. Жили мы в двухэтажном дощатом строе-нии с засыпными стенами, которое было воздвигнуто для строителей железнодорожной ветки Фрязево – Ногинск как временное жилье. Строители давно ушли, и теперь здесь поселились эксплуатационники, потому что жить было негде. Дом стоял в двух километрах от станции и города Электросталь, на работу и в школу приходилось ходить пешком. Железнодорож-ники были полурабочими-полукрестьянами. Жалкие зарплаты не давали возможности сводить концы с концами, поэтому все мы разбивали огороды, строили сараи, заводили скотину. Про-дуваемый насквозь дом-временка не имел ни водопровода, ни канализации, да и электричество провели только в годы войны. Но, несмотря на все трудности, семейство быстро прибавлялось. К 1947 году я был осчастливлен четырьмя сестрами, с которыми до сих пор живем душа в душу. Кроме школы все мои заботы сосредоточивались на воспитании малолетних сестричек, следо-вавших одна за другой, на заготовке дров на зиму, сена корове и на уходе «за огородом, нашим подлинным кормильцем. В моем отчине крестьянин умер гораздо раньше, чем в других его коллегам, он с неохотой занимался огородно-коровьими делами, кротко сносил упреки матери в бесхозяйственности и полагался на меня, «второго мужика» в семье.

В нашем кругу хорошо учиться считалось непрестижным, почти позорным, мои сверст-ники рано бросали школу и уходили на работу на завод или в ФЗУ (фабрично-заводские учи-лища). Я же из класса в класс переходил без больших хлопот, пока летом 1941 года не гря-нула война. Мы, мальцы, давно были убеждены, что «на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом». Нам были еще неведомы сомнения в правдивости печатного слова, утверждавшего все время, что мы самые могучие, самые сильные в мире. Нам было непонятно, отчего режут наши матери, почему почернели лица отцов, кутивших одну «козью ножку» за другой. Мы радовались, что враг своим нападением дал нам блестящую возмож-ность показать нашу силу. Откуда нам было знать, что пресса создана больше для вранья, чем для информации.

1941 год стал годом первых крушений иллюзий, годом начала критического отношения ко всему происходившему.

Наших отцов-железнодорожников в армию не брали, они были переведены на казарменное положение и жили в пустовавшем помещении эвакуированной химической лаборатории местного завода, выпускавшего противогазы. В первые же дни малограмотные мужики отыскивали в брошенных незакрытыми шкафах бутылки, колбы с жидкостью, напоминавшей спирт, и, естественно, не удержались от соблазна. Спирт оказался метиловым, несколько человек умерло, а часть ослепла. Это были наши первые собственные «военные» потери.

В тяжелую октябрьскую пору, когда каждую ночь немцы сыпали на нас зажигательные бомбы и сбрасывали вороха листовок с призывами не допускать эвакуации промышленного оборудования, наш дом потрясло трагическое событие. Один из соседей, Кирилл Семкин, работавший сцепщиком вагонов на станции Электросталь, принял после работы стакан водки и начал громко заявлять, что ему не страшен приход немцев, что все равно, при какой власти «жрать дерьмо», пусть, дескать, коммунисты «кладут в штаны от страха».

Наутро его уже не было дома: забрали. Судила его «тройка». Мой отчим как секретарь парторганизации железнодорожной станции был приглашен на суд. Кирилла приговорили к расстрелу и приговор привели в исполнение в 24 часа. Его жена, 29-летняя цветущая Анастасия, осталась с четырьмя ребятишками на руках, старшему из которых, моему ближайшему другу Сашке, было 12 лет. Единственной опорой убитой горем вдове стала наша семья, вернее, мой отчим. Он долго скрывал от нее факт приведения приговора в исполнение, говорил о штрафных батальонах. Анастасия надеялась, помню, даже сажала паука в стакан, веря в народную примету, что если паук соткет в гладкостенном стакане паутину – значит, муж жив, а если нет, то уж... нет. Чтобы семью не выгнали из крошечной комнаты в 12 квадратных метров в нашем железнодорожном доме, отчим убедил начальника станции принять убитую горем женщину на работу. Мы с приятелем Сашкой стали ходить за почасовую оплату на очистку железнодорожных путей от снега.

Закрутилась горькая рулетка войны, выдававшая кому похоронку, кому тяжелого инвалида, кому пропавшего без вести, кому арестованного своими. Как пелось в песне Высоцкого, «кому от Сталина, кому от Гитлера...»

Два года я не ходил в школу: она не работала. Отец пропадал на работе, дома его почти не было видно. Все силы и мысли сосредоточивались на том, чтобы выжить, сберечь сестренку, помочь матери, не дать своей душе расстаться с телом. Нужда заставила меня совершать дальние поездки за хлебом в Горьковскую область, где мы меняли иголки, дешевую бижутерию на муку, пшено, крахмал. Поездки были очень опасными: на крышах вагонов, в товарных составах. Защитой от милиции и уголовников были крайняя тщедушность и мальчишеские слезы. Больше рассчитывать было не на что. Однажды пришлось ехать пару суток, закопавшись в каменный уголь в открытом полувагоне, под непрерывным дождем, но думы о голодных сестренках не давали ни уставать, ни болеть. Зато дома нас встречали со слезами на глазах, как кормильцев-спасителей. Даже отец, смущенно кашляя, одобрительно поглядывал на лоснившийся от грязи мешок с мукой и пшеном и покрикивал на мать: «Наташк, накорми хлебопашца, будет топтаться без толку!» А мать плакала без стеснения, вытирая покрасневшие глаза передником, пришептывая: «Господи, да нешто я послала бы тебя... кабы не жисть эта проклятая... Спасибо тебе, сыночек, спасибо». И трудно было понять, за что мать благодарит меня: за то, что я привез еду, или за то, что вернулся жив и здоров и снял с нее бремя мучительного страха за жизнь единственного сына. А сам я, как большинство в моем положении, наслаждался «вниманием благодарной аудитории» и рассказывал целый день о бесконечных перипетиях поездки, не жалея красок и порядком привирая.

После пары лет такой волчьей жизни мне было нелегко привыкать снова к школе, куда я вернулся в 1943 году, когда отчим пригрозил применить все доступные меры наказания.

Меня окружали чистенькие, упитанные подростки, дети по большей части инженерно-технического персонала завода «Электросталь». У меня появлялись позывы отомстить им за их грамотность, воспитанность, благообразие, но усилиями чудесного педагога Марии Семеновны Мальвиновой (мне везло на учителей!) они были подавлены, и благодаря ей вскоре мне пришлось сидеть в Большом театре и слушать вместе с классом оперу «Евгений Онегин», чувствуя, как по спине пробегает озноб от пения волшебного Ленского-Лемешева. Завелись преданные друзья из благополучных семей. Самым близким был Виктор Рейтблат. Его отец Лазарь Аронович Рейтблат был до войны директором той самой школы, где мы учились; с первых дней ушел на фронт политработником и там погиб, оставив жену, учительницу начальных классов той же школы, с тремя маленькими ребятишками. Это была дивная еврейская семья – дружная, интеллигентная и всегда бедная. В самое тяжелое время, когда мне случалось заходить к Виктору, его мать Доба Савельевна всегда находила лишнюю тарелку супа для гостя, хотя свои дети пухли от недоедания.

Виктор давал мне читать книги из библиотеки своего отца. Так я прочитал «Историю гражданской войны в СССР», «Историю колониальных и зависимых стран», «Историю германского фашизма». Под влиянием этих книг я увлекся историей и со временем стал заниматься ею профессионально. Он же привил мне любовь к изучению иностранных языков. Сам он лучше других владел немецким. Помню, как библиотекарьша клуба имени Горького в Электростали цепенела от страха и восторга, глядя, как мы копаемся в горах неучтенных книг, оставленных в свое время немецкими специалистами, работающими на заводе. А вскоре я читал в подлиннике «Так говорил Заратустра» Ницше.

Я бесконечно благодарен судьбе за то, что она наделила меня в юности друзьями – людьми образованными, стоявшими выше меня по общему развитию. Мне всегда было с кого брать пример, за кем тянуться. На более поздних этапах эта же судьба, к несчастью, отказала мне в этой бесценной милости.

А какие были преподаватели! Директор школы Виктор Иванович Миловидов, словесник, был мастером по внеклассной работе. Трудно сейчас поверить, что мы ставили под его руководством «Горе от ума», «Вишневый сад». Созданный им школьный хор был просто чудом. Оставшиеся участники его и по сию пору, полвека спустя, собираются и исполняют тот старый репертуар с таким же упоением и страстью. И те же запевалы – Никитина Клава и Бохан Клава.

Незабываем и математик Ирошников Николай Петрович – тощий, очкастый, умный, беспокойный, как Жак Паганель. Отдыхая от математики, увлекался литературой, философией, без конца изобретал каверзные вопросы, на которые мы всем гамузом безуспешно пытались ответить.

1947-й, год окончания школы, выдался для нашей семьи особо тяжелым. Мать ждала рождения четвертой сестры Жени и еле двигалась по дому. Рано кончились запасы своей картошки, от коровы пришлось отказаться из-за нехватки кормов, жили только тем, что получали по карточкам. Я готовился к экзаменам на аттестат зрелости и не мог уезжать надолго из дома. Помогал семье, лишь распиливая сухие суги из ограды огорода и продавая аккуратные вязаночки сухих дров на базаре за кусок хлеба, фунт отрубей или плитку хлопкового жмыха. До слез тронули меня учителя из школы: они тайком собрали в складчину деньги и купили мне абонемент в школьную столовую с правом получения хотя и жидкого, но горячего обеда. Там питались только дети работников «Электростали», но для меня сделали исключение.

Окончив школу с золотой медалью, я шатался от счастья и истощения. «Ура! – орали мы. – Все позади!» – не ведая, что все было впереди. Ради правды надо сказать, что таких материальных трудностей и лишений, как в те годы, мне, к счастью, больше испытать не довелось.

Жизненная дорога круто пошла на подъем. Решение продолжить учебу в вузе было естественным, другие пути даже не рассматривались. Мое сердце больше всего склонялось

к карьере юриста. Я не мог еще сказать, хотел ли я стать прокурором – обличителем зла или адвокатом – защитником невинно страдающих, но мне хотелось быть причастным к судьбе и боли конкретных людей. Выбор помогли сделать два человека: мой друг Виктор Рейтблат и постовой милиционер на трамвайной остановке в начале Павловской улицы. Первый поколебал мои планы, предложив податься в Институт международных отношений, а второй забил окончательный гвоздь, сказав, что ехать к Московскому государственному институту международных отношений значительно ближе и проще, чем к Московскому государственному университету. В кармане у меня в этот момент лежали два заявления в оба эти учебные заведения.

В те годы еще не свирепствовала эпидемия блата. В МГИМО приняли документы провинциального медалиста без задержек. Экзамен по немецкому я сдал играючи и, выбрав для специализации испанский язык под впечатлением республиканской эпопеи 1936–1939 годов, был зачислен студентом. Выбор был сделан.

Институтские годы в целом остались в моей памяти как тяжелое и неприятное время в моей жизни. Я до сих пор вспоминаю институт с отвращением и никогда не возвращался в его старое здание у Крымского моста. Гнетущее впечатление, что это не храм науки, а карьерный трамплин, овладевало многими, кто попадал в его коридоры и залы. Студенты были трех мастей. Одни, так называемые «зеленошляпники», принадлежали к партийно-государственной элите. В нее входили настоящие «элитники» вроде дочерей Молотова, Косыгина, маршала Жукова, сыновей министров. К ним примыкали представители средней и мелкой служилой интеллигенции. Это была наиболее образованная часть студенчества, из которой впоследствии вышли многие видные дипломаты, ученые, журналисты. Но среди них было немало людей, смолоду зараженных вирусом карьеризма. Особенно неприятными и даже опасными оказывались те, чьи жизненные расчеты явно не обеспечивались способностями и знаниями. Такие молодцы компенсировали свои недостатки повышенной активностью на поприще «общественной работы». Их, конечно, было меньшинство, но своей назойливой крикливостью они искажали лицо тогдашнего мгимовского студенчества и отравляли общую атмосферу жизни.

Второй по влиятельности, но очень тонкий слой составляли бывшие фронтовики. В 1947 году из армии приходили все новые группы демобилизованных, и часть их на льготных условиях поступала в институт. По возрасту они были всего на четыре-шесть лет старше, но по опыту жизни, самостоятельности возвышались над нами, как Эверест. Часть из них не выдержала академических трудностей, но большинство выстояло. Я их глубоко уважал, звал всех «стариками», и среди них остались все лучшие друзья того времени.

Многочисленной, но затюканной, презираемой массой были выходцы из простолюдинов, особенно из провинции. Без влиятельных родителей, без опыта жизни они были тихими зубрилами, которые вели нескончаемую борьбу за выживание. Мне выпала «честь» принадлежать к этому непочетному легиону. Шанс как-то заставить уважать себя крылся только в отличных успехах. Мы не могли позволить себе, как Уинстон Черчилль в молодости, учить только то, что нравилось.

Нашими учителями были самые разные люди. Среди них попадались великолепные профессора: историк Е. В. Тарле, географ Н. Н. Баранский, юрист-международник В. Н. Дурденевский, специалист по древнему миру А. А. Бокшанин, философ П. С. Попов, читавший логику, востоковед Г. Б. Эренбург (однофамилец писателя Ильи Эренбурга). Но полным-полно было серых, случайных преподавателей вроде специалиста по марксизму некоего Лихолата, или отставного дипломата, читавшего курс международных отношений, или академика Иванова и др.

Учебный курс в основном был неплохо спланирован и предусматривал добротное, широкое образование. Тут были и классическая философия, история отечественная и зарубежная, право, литература, политэкономия, экономгеография и т. д. Но сама учеба временами приобретала уродливый характер, превращаясь в начетничество и зубрежку. Я до сих пор помню,

что единственную четверку за все время обучения в институте получил за незнание деталей биографии Сталина по курсу отечественной истории. Четверка не огорчила сама по себе, но она означала, что я потеряю 25 % прибавки к стипендии как отличник. Я напросился на пересдачу, три дня как чумной учил жизнеописание вождя и учителя и все-таки провалился опять на каких-то деталях, связанных то ли с его бегством, то ли с законным освобождением из ссылки. По тем временам это было чем-то вроде клейма на лбу. Изучение марксизма не касалось творческой сути как философского учения, а состояло в зазубривании. Скажем, надо было знать семь определений диктатуры пролетариата (по разным работам). Мыслить не учили, иначе мыслить не разрешалось вообще, и всякий отход от линии грозил анафемой и оргвыводами. Огромное количество времени терялось на бесконечное конспектирование бесчисленных трудов классиков.

Чем дальше от политических дисциплин, тем свободнее не только говорили, но и поступали наши профессора. Помню, как один экзаменатор спросил нашего фронтовика, не ответившего по билету по западноевропейской литературе: «Скажите, вы читали «Песнь о Роланде»?» – «Нет». – «Не приходилось ли листать рассказы Чосера?» – «Нет». – «Знаете ли вы, что такое «Ад» Данте?» Опять последовало сакраментальное «нет». Профессор вздохнул, поставил «четверку» в зачетную книжку и сказал: «Завидую вам, молодой человек: вам предстоит в жизни большое счастье открыть для себя столько прекрасного!»

Внеаудиторная общественная жизнь студентов была отравлена премерзостным духом гниющей сталинской диктатуры. Непомерный груз культа Сталина, казалось, сломал хребет нации. Одна за другой кампании морального террора захлестывали наши вузы. Сначала возникло какое-то дело о «моральном разложении» студентов Ленинградского университета. Всякий, кто подозревался в поддержании внебрачных связей, принуждался к немедленной женитьбе или подвергался риску исключения из института по подозрению в неблагонадежности. Глумление над людьми творилось страшное. Достаточно было написать заявление в партком, и «виновного» беднягу немедленно волокли на позорную дыбу – комсомольское собрание. Там его в самой унижительной форме спрашивали обо всем, клеймили и требовали безоговорочной капитуляции. Я не помню случая, чтобы кто-то осмелился защитить себя, он был бы смят и растерзан инквизиторской машиной.

Но самой страшной была кампания борьбы с космополитами. На наших глазах густо мазали дегтем и вываливали в перьях многих любимых преподавателей и профессоров, которых потом высылали в далекую провинцию. Мало того, что моральные казни совершались для устрашения, открыто, при всех, нас заставляли принимать в них активное участие. Обязательно среди выступавших экзекуторов должен был быть представитель «рядового студенчества», и загодя начинались поиски такого хунвэйбина. Чаще всего им становился особо алчущий хорошего распределения «борец за чистоту марксистско-ленинских идей» из числа натужных активистов. Эти люди, как правило, все хорошо устроились после окончания института, а еще через несколько десятилетий из них же вышли самые крикливые «демократы». Нормой их поведения всегда оставался беспринципный оппортунизм.

Время от времени накатывались истеричные волны изучения сталинских «трудов», причем чем ничтожнее был «труд», тем свирепее доказывалось его величие и беспощаднее требовалось его изучение в виде зазубривания. Особенно досталось нам с «Марксизмом и языкознанием», написанным маразма-тировавшим вождем под влиянием гостившего у него на даче летом профессора языкознания из Грузии. Пришлось все без исключения предметы сдавать под углом зрения «идей», изложенных в тощей брошюре.

В отлично задуманном институте, к тому же поселившемся под крышей старого лицейского здания, вход в которое стерегли скульптуры Сократа и Платона, глубоко засел дух карьеризма, тщеславия, шкурничества. Казалось, что здесь собрались не беззаботные студенты в самую красивую пору своей жизни, а маленькие чиновники, которые рано повели борьбу

за будущие теплые места, стали искать знакомств и связей, выгодных женитьб и замужеств, рвались очертя голову в партию, куда доступ строго дозировался, стремились к общественной работе лишь потому, что она давала дополнительный шанс попасть на глаза администрации и партийным боссам. Для подавляющего большинства студентов-разночинцев это было неприемлемо и вызывало отвращение.

Я часто задавал сам себе вопрос, как я относился к советской власти, к правительству за все годы жизни. И отвечал: «Рассудительно, критически, без идеологической зашоренности!» Все мое уважение к компартии и ко всем властным структурам проистекало из того, что они олицетворяли в моих глазах государство, Родину. Точно так же, как в давние времена патриот отечества мог на протяжении своей жизни служить трем-четырем различным государям, различавшимся своими характерами, государственными взглядами. Сам институт самодержавной монархии осуждался большей частью русской прогрессивной общественности, но к топору звали Русь лишь единицы. Большинство честно служили своему народу в условиях достаточно деспотичной царской власти. У меня были и свои особые обиды на советскую власть, обиды, полученные незаслуженно. Боль от них и сейчас саднит сердце.

Зимой 1952 года мы, студенты последнего курса МГИМО, сдавали экзаменационную сессию. Это была последняя сессия. Все уже получили предварительное распределение. Мне, в частности, досталось направление в МИД, куда я сдал соответствующие анкеты. Направление завидное, но ведь я все годы был отличником и к тому же довольно активным комсоргом академической группы.

К экзаменам мы в те времена готовились группами: так было проще и эффективнее. Одна из групп в составе пяти моих товарищей занималась, за отсутствием домашних условий, в здании института. И туда к ним заглянула незваная девица из наших же студенток, смазливая и крайне честолобивая, давно державшая на них зуб за то, что ей отказали в рекомендации для вступления в партию. Уж как она вела себя там, не ведаю, только в какой-то момент она закатила истерику, завопила, что ее хотели изнасиловать, выбежала и изображала обморок. Надо знать нравы и обычаи того волчьего времени, да еще в таком карьеристски-бюрократическом заведении, как тогдашний МГИМО, чтобы представить себе последствия. Мамаша этой девицы написала письмо министру иностранных дел А. Я. Вышинскому, требуя расправы над «насильниками». И карательная машина заработала. Всех пятерых наших товарищей лишили направлений на работу, а среди них были три ветерана Великой Отечественной войны, у них уже были семьи. Все дело, как выяснилось после моих бесед с пострадавшими, оказалось полной чушью, мстью злой, капризной трясогузки. В число пострадавших попал даже парторг группы. Я, комсорг, вроде бы остался за старшую власть и употребил ее, как умел. С помощью друзей мы составили письмо тому же Вышинскому, в котором рассказали все, как было, и просили остановить инквизиторскую машину. Письмо было подписано всеми студентами группы, кроме одного. Мне и в голову не пришло скрывать свою роль инициатора этого послания.

Велико же было мое удивление, когда пару дней спустя в общежитие института, где я обитал, прибыла черная машина и мидовский чиновник ледяным голосом пригласил меня проследовать за ним. Я как был в лыжном костюме, так и поехал. Без задержки меня доставили в приемную министра и через небольшую анфиладу комнат ввели в его собственные апартаменты. Я аж вздрогнул, увидев по-рачьи согнувшуюся над столом фигуру министра – зловещего Андрея Януарьевича. Мой конвоир-чиновник усадил меня на стул, шепнул что-то министру и вышел неслышной тенью. Минуту-другую меня никто не замечал. Потом Вышинский вдруг вскинул голову, всмотрелся сквозь сильные очки в невзрачную фигуру, одетую в лыжный костюм, и резко рявкнул: «Ну что, доигрались, шпана, хулиганье из Марьиной рощи? Институт опозорили. МИД срамите! Коллективки писать вздумали в защиту насильников! Тоже мне вожак комсомольский сыскался! Недоумки из вас вышли, а не политические работники! А вас

еще к тому же кто-то сообразил в МИД на работу рекомендовать. Вы этого не заслуживаете и недостойны! Мы пошлем вас в Сибирь, учителем в школу!»

Мне стало все предельно ясно. От сознания полной безнадёжности пришло хладнокровие, я решил прервать поток слов и сказал: «Товарищ министр, ничего страшного в том, чтобы работать учителем истории, нет, а Сибирь ведь тоже русская земля!» Вышинский, мне показалось, даже на секунду опешил от такой наглости, но, машинально поправив нормально сидевшие на носу очки, снова взорвался: «Вы не понимаете, что вы натворили. Если правильно пишет мать пострадавшей, то все ваши подзащитные пойдут под суд, а вы и все, кого вы подбили поставить подписи под коллективкой, понесете партийную ответственность. Надо посмотреть, место ли вам в МГИМО вообще. Идите!» Последнее слово упало резко, как команда в тюрьме. Я поднялся и вышел. Вся беседа длилась, наверное, три-четыре минуты. Чиновник молча провел меня мимо постов охраны и оставил на улице. Никакая машина меня не ждала. «Ну и слава Богу!» – подумалось невольно. Я побрел пешком, размышляя: что бы все это значило, зачем надо было вызывать меня для такого разговора? Наверное, чтобы запугать, застрашать таким коротким, сокрушительным ударом по нашей будущей судьбе.

Наутро я был снят с поста комсорга, получил строгий выговор. Всех пострадавших пятирх товарищей исключили из партии. Это был конец! Наказания остальным были поменьше. Н. Сидоров, секретарь парткома МГИМО, молниеносно созывал послушных членов комитета и после каждого очередного звонка от руководства МИД навешивал новые наказания на шеи «виновных».

Мы, собравшись на квартире одного из товарищей, решили, что терять все равно больше нечего и нужно бороться до конца. Пожаловались во Фрунзенский райком партии на несправедливость. Там секретарем тогда была Е. А. Фурцева. Разбор нашей жалобы превратился в еще одну публичную порку. Все было оставлено в силе. Апелляция в горком партии принесла новые синяки и шишки. Отчаяние наше росло. Приближалась весна, нас могли не допустить к государственным экзаменам. Оставалась последняя надежда – комиссия партийного контроля. Чуть ли не кровью сердца писали мы свою жалобу туда. Никто из нас не был допущен на слушание нашего дела, а вот решение было ошеломляющим: «Все партийные наказания отменить как необоснованные». Ура! Есть, выходит, справедливость! Только ее надо долго и упорно искать! Да здравствует родная коммунистическая партия!

На дворе цвела сирень. Полгода мы провисели на дьявольской дыбе в роли подозреваемых и пытаемых. На торжество в институте уже не оставалось времени. МИД покарал нас по-своему: все навсегда были отлучены от работы в его стенах. Мне не разрешили поступить в аспирантуру МГИМО по причине «полной бесперспективности как ученого». Ну и плевать на них! Мы весело шагнули в мир – искать свою судьбу в других пампасах.

Мне дали самое унижительное, непрестижное направление на работу в Издательство литературы на иностранных языках, которое размещалось на Зубовском бульваре в здании бывшего приюта для дефективных детей. Определили меня практикантом контрольного редактора с минимальной по тогдашним временам заработной платой – 1200 рублей в месяц. Был выделен кусочек стола в чулане под лестницей, за которым я должен был выполнять норму контрольного редактирования – 10–12 страниц в день. Мне давались два политических текста на русском и испанском языках, а я сравнивал правильность перевода. Делалось это потому, что многие испанцы-республиканцы, работавшие переводчиками, недостаточно хорошо знали русский язык и допускали неточности при переводах. Вылавливать их была моя задача. Серость, скука и бесперспективность такой работы вызывали отчаяние.

Память о каких-то проблесках справедливости не давала мне покоя, и я решил попробовать поступить, вопреки официальному полузапрету, в аспирантуру Института международных отношений, поскольку туда люди шли все же не по распределению, а по конкурсу. Я подал заявление и, еще не имея согласия, явился на вступительные экзамены. Получив «пятерку»

по иностранному языку, через пару дней я пришел сдавать экзамен по спецдисциплине (история международных отношений). Вытянув билет, готовился к ответу, уверенный в своих силах, когда вдруг дверь аудитории отворилась и, погромыхая палкой и протезом, ко мне направился тогдашний куратор аспирантуры Леонид Кутаков. Он подошел к моему столу и зло прошипел: «Прошу вас оставить аудиторию. Вы не допущены к вступительным экзаменам. В решении ученого совета института ясно сказано, что вы бесперспективны как ученый». Обида обожгла сердце, но унизиться до разговора с таким верноподданным ученым я не захотел. Собрав все записи, я постарался принять как можно более независимый и гордый вид и вышел, сопровождаемый своим конвоиром.

Память об этом незаконном изгнании и унижительной формулировке ученого совета послужила самым лучшим стимулятором моего интереса к науке. С тех пор прошло 40 лет. Я так и не смог поучиться в аспирантуре, но занимался наукой в свободное от работы время и защитил сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертации, написал четыре монографии, две из которых переведены на иностранные языки и изданы за рубежом.

«Ну что ж, издательство так издательство», – решил я. Надо постараться взять максимум возможного из сложившейся обстановки. А взять, как выяснилось, можно было многое. В испанской редакции, где я работал, подавляющее большинство сотрудников были испанцами по национальности, повзрослевшими детьми республиканцев, которых привезли в СССР в разгар гражданской войны на Пиренеях. Мне приходилось с утра до ночи говорить с ними на их родном языке, много работать со словарями, спорить с переводчиками. Незаметно для себя я начал все свободнее пользоваться выученным в институте, но бывшим тогда для меня еще мертвым языком. Вскоре я был принят испанцами в их круг, пил с ними по два раза в день кофе, участвовал во всех делах землячества, получая по ходу дела бесценные лингвистические дары и набираясь жизненного опыта. Я влюблялся в испанский язык, которым, по словам Ломоносова, «с Богом говорить можно».

В один прекрасный день на мою голову свалилось неожиданное счастье. Меня вызвал к себе директор издательства и сказал, что есть возможность закрепить и развить знание испанского языка, поучившись в зарубежном университете. Мне предлагали поехать на пару лет в Мексику стажером советского посольства и в течение этого времени посещать занятия на филологическом факультете университета, чтобы подготовиться к выполнению в будущем обязанностей переводчика для всех случаев жизни.

Он пояснил, что правительство приняло решение направить за границу для языковой учебы 15 человек, разделенных на пять групп по три человека, каждая из которых специализировалась в каком-нибудь иностранном языке. Группы должны были выехать в Англию, Францию, ГДР, КНР и Мексику, поскольку Испания оставалась закрытой для граждан СССР. Исполнение этого решения было возложено на издательство.

Господи! Для меня эти слова звучали божественной музыкой. Я даже не отказывался для приличия и сразу помчался делать фотографии и выполнять иные формальности. Вся зима 1952/53 года прошла для меня в возбужденном ожидании отъезда. Свои служебные обязанности я выполнял хорошо, но автоматически, выбила меня из нормальной колеи только смерть Сталина 5 марта 1953 г. Скорбь и горе всех моих сослуживцев были неподдельными. Но еще больше нас убивались испанцы. Общественный психоз в те дни вышел из берегов. Миллионы людей рвались к Колонному залу, где, успокоенный наконец, лежал «вождь и учитель».

Вместе с группой ребят из издательства я тоже пролез под военными грузовиками и втиснулся в толпу где-то между Петровкой и Пушкинской улицей. Скоро стало ясно, что никакого продвижения вперед не было, а толпа начала опасно колыхаться на идущем под откос тротуаре. Теснота нарастала, над толпой висело густое облако пара. Кое-где раздавались крики.

Мне стало не по себе, дело явно могло кончиться бедой: я с великим трудом мог пошевеливать руками, прижатыми к груди, пуговицы пальто были наполовину оборваны, и полы, захва-

ченные сдавленными телами, тащили меня в пучину человеческого водоворота. Галоши с ботинок давно пропали, и боль от топчущихся на моих ногах чужих сапог становилась нестерпимой. К тому же ноги насквозь промокли. Оставшийся от крестьянской жизни инстинкт самосохранения толкнул меня на единственно правильное решение – отказаться от вроде бы неотъемлемого права взглянуть на покойника. С огромным напряжением я «выгребал», работая локтями, из человеческого моря все ближе и ближе к берегу и наконец нырнул под спасительные военные грузовики.

Придя в себя, я залез в кузов автомашины и взглянул туда, откуда только что выбрался. Там было преддверие ада. Отдельные крики уже сливались в общий вой, края толпы активно размывались, но в центре люди с белыми от страха лицами тщетно молили о помощи. Сделать ничего было нельзя. А в полукилометре на самой Трубной площади в это время разыгралась настоящая трагедия. Сотни людей были сбиты с ног неудержимым потоком толпы и раздавлены. Культ личности уносил с собой в могилу несколько сотен своих последних жертв. Много лет спустя мне довелось познакомиться с Николаем Ивановичем Крайновым, исполнявшим в те дни должность начальника милиции Москвы, а затем разжалованным и исключенным из партии за беспорядки, допущенные при похоронах Сталина. Он рассказывал, что на заседании политбюро, где обсуждался вопрос *«о прощении с возждем»*, он доложил о невозможности силами одной столичной милиции обеспечить порядок и просил ввести войска в Москву, чтобы избежать беды. На него зашикали сразу двое – Хрущев и Берия: *«Ты паникер, недооцениваешь политическую сознательность нашего народа и хочешь снять с себя ответственность за выполнение долга»*. Ничего не было сделано, и жизнь быстро доказала, что милиция совершенно бессильна, когда на улицу выходит ее величество толпа. По какому бы поводу эта толпа ни выходила на улицу, она сразу становится всесильной, внушает страх и ужас властям. Остановить толпу можно, только признав ее требования или даже пригрозив ей крупным наказанием.

Я и сам был подвержен общественному психозу, поэтому, придя домой, сменил обувь, соответственно оделся и вновь оказался на Пушкинской площади, намереваясь пройти подвалами или крышами к центру. Долго плутал по грязным катакомбам подземелий, но дороги так и не нашел. К этому времени в город были введены воинские части и все дыры были «заштопаны». Так я и не простился со «стариком Хоттабычем», как я называл Сталина за его капризное всесилие. В момент его помещения в Мавзолей, когда заревели все гудки заводов, фабрик, средств транспорта, я с группой сотрудников стоял на крыльце издательства со слезами на глазах и думал, что теперь нашей стране будет плохо, совсем плохо.

В конце апреля 1953 года я получил загранпаспорт и отправился в дальнюю дорогу в Мексику. Тогда большинство командированных пользовались только сухопутными или морскими путями. Сказывались еще не изжитые привычки Сталина, который очень не любил самолеты, боялся летать. Привычки вождя становились обязательными для всех чиновников. Именно поэтому в МИД СССР мне купили железнодорожный билет от Москвы до Рима через Вену. Из Рима я должен был местным поездом добираться до Генуи и там сесть на пароход, отправлявшийся в Мексику. Меня это очень обрадовало. Представлялся шанс посмотреть полмира за казенные командировочные.

5 мая 1953 г. я поднялся на борт невзрачного торгового судна «Андреа Гритти», которое везло около 200 итальянских эмигрантов в Латинскую Америку. В крошечном отсеке наверху, претенциозно названном «первым классом», разместилось десятка полтора пассажиров, чей статус был чуть выше эмигрантского. Путешествие изобиловало многими курьезными происшествиями, случившимися со мной из-за искаженности представлений о западном мире у воспитанника большевистско-крестьянской России. Ориентироваться в новой обстановке приходилось, только повинаясь здравому смыслу.

Во время почти месячного плавания от Генуи до Веракруса я впервые завел «несанкционированное» знакомство с иностранцами – тремя латиноамериканскими юношами, одним из которых оказался кубинец, студент второго курса Гаванского университета Рауль Кастро, а два других были гватемальцами. Они возвращались к себе на родину после участия в подготовительных мероприятиях, связанных со всемирными фестивалями молодежи. Все мы были примерно одного возраста, говорили на одном языке, понимали друг друга с полуслова, горели желанием отдать свои жизни служению народу. Мы стали друзьями и, как бы ни была нас судьба потом, какие бы политические вихри не отрывали нас друг от друга, остались верными нашей дружбе. Один из четверки не дожил до наших дней. Он был убит в Гватемале 15 лет назад террористической организацией «Белая рука» за то, что, будучи юристом, защищал интересы рабочих профсоюзов. Его звали Бернарде Лемус.

У Рауля Кастро, единственного из нас, был фотоаппарат, и за время плавания им было сделано немало общих снимков. Когда же настал момент расставания в Гаванском порту, я внезапно для своих друзей потребовал, чтобы мне были переданы все негативы снимков, на которых присутствую я. Сейчас стыдно вспоминать свое поведение. Но еще перед отъездом из Москвы работники кадрового аппарата МИД напутствовали нас: «Не позволяйте себя фотографировать, ваши снимки могут быть использованы для провокаций!» Это был не единственный пещерный запрет, из-за которого молодые советские дипломаты попадали в нелепые ситуации. Муравьиный инстинкт подчинения сделал свое дело. Никакие уговоры на меня не действовали. Пришлось вырезать из пленок часть кадров, которые я, к счастью, не уничтожил, а сохранил на всю жизнь.

Так уж получилось, что при выходе с корабля в Гаване Рауль Кастро и его товарищи сразу же попали в руки политической полиции как члены прокоммунистических организаций. У них были отобраны вся литература и фотоматериалы, которые они везли с собой. Вместе с ними навсегда исчезла и пленка с нашими корабельными снимками, и единственными сохранившимися кадрами оказались как раз те, что остались у меня. Поистине не бывает худа без добра.

Лишь к середине июня наша морская посудина добралась до мексиканского порта Веракрус. Я высадился на землю, которая почти на 15 лет станет моей второй родиной. Описывать ее не буду, скажу только, что правы мексиканцы, когда, не моргнув глазом, говорят: «Такой страны, как Мексика, на земле больше нет!»

Пост посла СССР в Мексике в ту пору занимал Александр Иванович Капустин, который не был карьерным дипломатом. Инженер-механик по образованию и опыту работы, он, по рассказам, был командирован в Тегеран накануне знаменитой встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля в 1943 году с задачей привести в порядок систему фонтанов на территории советского посольства. С поручением справился нормально. Когда Сталин заинтересовался, кто же поддерживает в тяжелые военные годы в порядке систему фонтанов, ему ответили: «Есть у нас тут первый секретарь посольства – золотые руки!» Он не замедлил отреагировать: «Таких людей надо ценить!» Эта фраза решила судьбу инженера Капустина. Он был командирован советником в Вашингтон, но, не имея ни опыта, ни знаний для дипломатической работы, занимался административно-хозяйственными делами.

В 1945 году в Мексике произошла трагедия: в авиационной катастрофе погиб советский посол Уманский. На его Место почти без колебаний был направлен А. Капустин. Он провел восемь тяжелых лет «холодной войны» в Мексике, не вызывая огонь на посольство и отсиживаясь в круговой обороне. Посольство и его квартира были заполнены строгальными, фрезерными станками, он все время что-то мастерил, привел в порядок систему водоснабжения и канализации, обновил электросеть. Сам не гнушался работать Киномехаником, потчруя сотрудников в десятый раз «Кубанскими казаками» или «Свадьбой с приданым». Он искренне хотел передать и мне любовь к технике, терпеливо втолковывал волшебные качества «маль-

тийского креста» – важнейшей детали кинопроекторного аппарата, но не обиделся, когда стало ясно, что я совершенно не приспособлен к этой науке.

Капустин проникся уважением ко мне, когда получил из Москвы депешу, предписывавшую пристроить меня в соответствии с решением правительства в университет на предмет обучения языку и философии. Он часто беседовал со мной, и его рекомендации обычно были такими: «Изучи внимательно историю и жизнь этой страны, в ней очень много интересного. Во многом они ушли дальше нас. Упаси тебя Бог отвергать чужое только потому, что оно не наше». Спасибо ему за эти отеческие советы, за мудрость умного, работающего человека, случайно попавшего в дипломатию.

Я поступил в университет и стал посещать лекции, семинарские занятия по целому ряду предметов. Пришлось одолеть курс испанской и мексиканской литературы, написать кучу сочинений по языку и много чего другого. Главное, я лез из кожи вон, чтобы заслужить похвалу преподавателей. Мое имя мало кого интересовало в университете, но то, что пришел учиться «русский», было известно всем. Я больше всего опасался бросить хоть малейшую тень на образ «русского человека». Кончилось тем, что я в течение двух неполных лет одолел полный курс факультета философии и словесности, сдал экзамены и получил право на преподавание испанского языка в испаноговорящих школах.

Вновь приехавший посол А. Г. Кулаженков вызвал меня, поздравил с окончанием учебы и распорядился, чтобы впредь я работал как стажер посольства на общих основаниях. Совершенствовать знания мне было разрешено только с приходившим в посольство учителем, бывшим офицером республиканской армии Мартином Иглесиасом, который любил повторять: «Запомни, друг Леонов, наше знание ограничено, наше невежество энциклопедично».

Язык мы с ним изучали просто: читали страницу за страницей о похождениях рыцаря Печального Образа – бессмертного Дон-Кихота Ламанчского и комментировали каждое новое слово, оборот, выражение, пословицу или поговорку. Посольские давно признали меня мэтром в испанском языке.

Так и шла бы моя жизнь маленького посольского чиновника с лингвистическим вывихом, если бы не грела мое сердце память о Рауле Кастро, давно сидевшем в тюрьме на острове Пинос за участие в штурме казарм Монкада, его брате Фиделе, которого я не знал лично, но которым восторгалась вся молодая Латинская Америка. По прессе, радиопередачам я следил за всеми перипетиями их политической одиссеи, узнал наконец, что они были высланы в Мексику.

Однажды летом 1956 года, устало бредя по улице с покупками в руках, я увидел группу скромно одетых молодых ребят, оживленно разговаривавших. Я невольно остановил свой взгляд на одном из них и ахнул: «Да ведь это же Рауль!» Но я боялся ошибиться и окликнуть. Тем временем группа поравнялась со мной и прошла дальше, не прекращая заavidно веселой беседы. Уже порядком отойдя, я все же оглянулся и встретился глазами с тем парнем, также смотревшим на меня. Я не сдержался и закричал: «Рауль, ты ли это, дружище?» Ноги легко понесли меня к нему, да и он почти бежал навстречу.

Домой я летел на крыльях. (Я теперь мог чихать на все и на всех.) Я наконец встретил своего друга – героя Монкады. Мне одного этого хватило бы на много-много лет. Он не забыл дать мне свой адрес, а я не забыл взять его. Это было залогом, что мы встретимся еще.

Считая знакомство и дружбу с Раулем исключительно личным делом, я не сказал ничего ни послу, ни советнику, хотя знал, что по тем временам меня по головке за это не погладили бы. Мне казалось, что мое положение полустудента-полустажера дает мне определенную свободу.

Некоторое время спустя я побывал у Рауля в его квартире. В тот день он был болен, и около его кровати сидел симпатичный молодой человек, с живейшим интересом рассматривавший меня, как пришельца из других миров. «Это Че Гевара, – сказал Рауль, показав гла-

зами в его сторону. — Он считает себя врачом и взялся вылечить меня от гриппа, но, по моему, он пришел раздобыть свежих сигар, которые нам только что прислали друзья с Кубы». Легко вскочив с кровати, Рауль порылся в дальнем углу и вернулся с дюжиной очень длинных, грубовато свернутых, домашнего изготовления сигар. Многие из них имели необрезанные концы, которые живописно лохматились табачными листьями. Гевара тут же закурил одну и еще несколько сунул в нагрудный карман рубашки. Общими усилиями мы заставили Рауля забраться под одеяло, и потекла безбрежная беседа обо всем, что произошло между 7 июня 1953 г., когда мы расстались в Гаванском порту, и июлем 1956-го, когда судьба вновь свела нас на торговой улице города Мехико. Че подробно расспросил меня, чем я занимаюсь в посольстве, попросил достать ему книги о советском характере, точно назвав, к моему удивлению, «Чапаева», «Как закалялась сталь» и «Повесть о настоящем человеке». Я обещал, смутно вспоминая, что где-то в посольстве я видел на пыльных полках эти книги на испанском языке. Достав из кармана свою визитную карточку, я протянул ее Геваре со словами: «Спросите у дежурного, и меня сразу разыщут».

Встреча с Раулем и Че потрясла меня. Они говорили о политике как о дороге к смерти или бессмертию, за простыми словами чувствовалась полная отрешенность от забот о своем «я», абсолютная их поглощенность делом революции. Они мне не рассказывали о своих конкретных планах, но не скрывали, что будут бороться против диктатуры Батисты до конца. Как разительно отличалось это от нашей болтовни на политические темы в протертых креслах третьеразрядного посольства! До сих пор мне не приходилось встречать людей, так глубоко верящих в правоту своего дела. Я знал о самоотверженности русских раскольников, о несгибаемом мужестве декабристов, наконец, на памяти были коммунары, рожденные нашей революцией и гражданской войной, встававшие под расстрел и шедшие под казачьи шашки, но заражавшие своей отвагой целую нацию и пугавшие врагов презрением к смерти. Мои новые друзья были им сродни. Люди в моем привычном окружении совсем не были похожи на них. Когда я возвращался домой, у меня четко сформировалось убеждение: «Они могут погибнуть, но станут национальными героями!»

Через пять-шесть дней Че Гевара в стареньком пиджачке и странно выглядевшей в Мексике серенькой кепке с длинным козырьком, отчего походил на нашего рабфаковца 20-х годов, пришел в посольство, разыскал меня и горячо благодарил за полученные книги. Для обстоятельной беседы у него не было времени, и мы условились собраться как-нибудь потом, в другой раз, созвонившись с Раулем. А этот «другой раз», когда мне пришлось увидеть Гевару, был уже после победы кубинской революции, через четыре года.

Прошло всего несколько дней, и однажды утром, раскрыв газеты, я похолодел. На первой полосе «Эксельсиора» я увидел крупный заголовок «Арест кубинских заговорщиков», а под ним фото, на котором я сразу же узнал Рауля, его друзей, милую добрую хозяйку дома Марию-Тересу. Прочитав статью, я узнал, что агенты Батисты выследили Фиделя и часть его группы, донесли обо всем правительству, и оно потребовало от мексиканцев принятия мер по предотвращению подрывной деятельности. У Фиделя и его товарищей были отобраны оружие, снаряжение, боеприпасы.

Вскоре и для меня начались кое-какие осложнения. При обыске в доме Гевары ищейки обнаружили мою злополучную визитную карточку, и им померещилось, будто они поймали «волосатую руку Москвы». В том же «Эксельсиоре» под интригующим заголовком «Идя по следу» борзописцы вскоре стали плести несусветную чушь о моей принадлежности к мифической секретной службе МИВ (просили не путать с КГБ) и т. д. Так я оказался отмеченным связью с «заговорщиками», «путчистами», как в то время называли Фиделя Кастро и его товарищей не только мои коллеги по посольству, но и многие коммунисты Кубы, которые не воспринимали новые формы борьбы против диктатуры Батисты. С окончательным штампом на биографии «не годен к несению дипломатической службы» я вскоре был по реше-

нию посла откомандирован на родину во избежание каких-либо осложнений. Для пущей гарантии, чтобы я не наделал глупостей в дороге, в сопровождающие мне дали, ни много ни мало, советника посольства Михаила Фроловича Черкасова, который благополучно отконвоировал меня поездом до Нью-Йорка, а дальше на крупнейшем по тому времени лайнере «Куин Элизабет» до Англии, откуда на родной «Балтике» добрались до Ленинграда. Слава Богу, из-за сохранявшейся боязни самолетов опять удалось посмотреть полмира.

Но поездка не оказалась безмятежной. Переход через Атлантику совпал с самыми драматическими днями венгерских событий октября 1956 года, когда советские войска вошли в Будапешт. На корабле вокруг нас создавалась очень напряженная обстановка, я впервые почувствовал, что такое бойкот. Под дверь каюты ежедневно «любезная» рука подсовывала публикации об ужасах венгерских событий, в столовой вокруг нашего столика образовалась полянка, соседи перебрались подальше, а потом вообще решили не входить в зал, пока там будут русские. Пришлось отомстить: я стал затягивать время обеда и действовать им на нервы. Так же мы вели себя в кинозале, на палубе. Русские оказались непробиваемыми, «бойкот» бил по бойкотирующим, но удовольствие от путешествия было, конечно, испорчено.

Вообще, насколько приятна была поездка из Москвы в Мексику в 1953 году, настолько же, а может, и более омерзительным оказался путь обратно. Даже в сонном консервативном Стокгольме пришлось пережить неприятные минуты. Выйдя в город во время стоянки корабля и побродив по улицам, мы вдруг поняли, что заблудились. Попробовали узнать у прохожих дорогу в порт, спрашивая по-английски и по-испански, но не тут-то было, никто нас не понимал. Наконец я громко и смачно выругался по-русски. И вдруг впереди шагавший человек остановился и спросил на родном наречии: «А вам куда нужно?» – «В порт!» – закричали мы радостно. «Нам почти по пути, пойдемте, я провожу вас», – услышали мы в ответ. Незнакомец сначала начал расспрашивать о Союзе, резко комментируя наши ответы. Мы стеснялись поначалу, а потом стали отвечать по принципу «око за око». Дискуссия перешла в перепалку, и на подходе к порту мы были на волосок от драки. Хотя мы были признательны эмигранту-перемещенцу за то, что он вывел нас в порт, но, когда он вдогонку крикнул: «Вон ваша плавучая тюрьма!», я от души пожелал ему сгнить на чужбине среди предателей родного народа.

Приезд в Москву и возвращение на работу в Издательство литературы на иностранных языках не принесли никакой радости. Меня встретили тот же темный с зарешеченными окнами «кабинет» под лестницей, невероятная теснота столов с кипами наваленных рукописей, повышенная норма выработки – 14–16 страниц контрольного редактирования и 1500 рублей зарплаты. Прямо как в сказке о рыбаке и рыбке: та же избушка и то же разбитое корыто. Мне стало невыносимо скучно от неизменности кислого подлестничного бытия. Никому не было дела до моего «заграничного» образования. Правда, меня вскоре избрали секретарем комсомольской организации издательства, говорили в глаза, что я являюсь «перспективным работником», но я решил твердо переменить свою жизнь. Под предлогом невероятной скученности я выхлопотал для себя право работать дома, тем более что переводческая и редакторская работа не требует обязательного присутствия на службе. За один нормальный рабочий день я легко выполнял трех-четырехдневную норму, а свободное время мог использовать по своему усмотрению.

Я стал готовиться к поступлению в аспирантуру в один из институтов системы Академии наук. В науке вообще сохранялись какие-то демократические порядки. Ученые степени и звания присуждались все же в результате тайного голосования на ученых советах. Обсуждения работ велись открыто. Выбор тем для исследования в большой степени зависел от самих ученых, особенно в гуманитарных отраслях. В советское время нередко уходили в науку, как раньше уходили в монастырь, чтобы максимально отдалиться от превратностей и треволнений общественно-политической жизни. Убежище не было совершенно

безопасным, но все-таки оставалось убежищем. И чем дальше был предмет исследований от советской действительности, тем больше было шансов у ученого на относительно спокойную творческую жизнь.

Будучи в Мексике, я часто ходил по букинистическим магазинам, приучился работать в библиотеках и хранилищах печати. Привез оттуда много книг. Среди них было немало монографий и документов по определенным темам, одна из которых и стала темой моей кандидатской диссертации. Меня увлекла история борьбы мексиканского государства с католической церковью в XIX–XX веках. Финальной фазой этой борьбы была жуткая гражданская война 1926–1929 годов, получившая название «восстание кристерос», когда темная крестьянская масса поднялась по призыву церковников на войну с правительством. Наверху шла борьба за власть в стране, за реальное влияние на государственные дела, а внизу это выливалось в кровавые расправы с учителями, государственными чиновниками, нападения на маленькие гарнизоны с поголовным уничтожением сопротивлявшихся, массовую организацию крушений поездов и т. д. Войска отвечали не менее дикими репрессиями в виде групповых расстрелов бунтовщиков, массовых казней через повешение и т. д. Одним словом, как всегда бывает при борьбе за власть, пань дерутся, а у холопов чубы трещат.

Я думал и дальше углубляться в пласты латиноамериканской истории, поскольку судьба практически не оставила мне других путей.

Работу приходилось вести дискретно, чтобы не раздражать издательское начальство своими дезертирскими настроениями. Наверное, все было бы хорошо и летом 1957 года я бы пошел по «ученой стезе», но новая неожиданность поломала все планы.

В июне 1957 года я получил повестку из военкомата с предписанием явиться на учебные сборы офицеров запаса сроком на полтора-два месяца. Какая досада! Эти месяцы как раз совпадали со сроком сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру. С военкоматом спорить бессмысленно, ибо на все аргументы солдафоны отвечали: «Если хочешь говорить со мной – молчи!» Когда собрались все новоиспеченные призывники, я удивился, увидев многих бывших однокашников – выпускников МГИМО. Среди них не было только тех, кто поступил работать в солидные учреждения – ЦК КПСС, МИД, КГБ. Собрались те, кто осел в издательствах, органах печати, организациях культуры и т. д.

Нас привезли в Тулу, помыли в санпропускнике и выдали солдатскую форму с погонами младших лейтенантов и с прикрепленным значком парашютных войск.

Вскоре удалось выяснить, что тогдашний военный министр, крутолобый Г. К. Жуков, выдвинул идею захватить в случае войны вражеские ракетно-ядерные базы в Европе путем выброски на них крупных парашютных десантов. Для этой цели каждой боевой авиадесантной части должны быть приданы группы военных переводчиков. Так и собрали нас, знатоков иностранных языков, с целью обучить боевому десантированию, а заодно и действиям в составе боевых диверсионных групп. Военная метла собрала нас в лагерях 100-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расположенной в 30 верстах от Тулы.

Жизнь в парашютных частях особая, дух необычный. Все мы быстро отпустили усы – так полагалось по традициям подчеркивать элитарность своей части. Воспитательные приемы несколько отличались от рекомендаций Песталотци и Макаренко. Всякого, кто отказывался от службы в ВДВ и боялся надеть на себя парашют, отдавали на воспитание старослужащим. Они будили его ночью, выводили труса на учебный плац, привязывали к тренажеру и бешено крутили до тех пор, пока он не клялся прыгнуть с любого летательного аппарата. Страх перед повторением этой операции, как правило, пересиливал страх перед прыжком в бездну.

Помню, как один из наших мгимовских выпускников, работавший в тбилисской газете «Заря Востока», не выдержал напряжения и убежал из лагеря. Его искали целый день по окрестным деревням и обнаружили к ночи рыдающим в лесном овраге. Можно было запла-

кать, глядя на жалкого человека, испуганного до смерти. Когда его вели в лагерь, он был похож на дезертира, которого ждала свежевыкопанная могила на лагерном плацу. Расправились с ним иначе: исключили из партии и отправили домой.

Я к превратностям судьбы отнесся с крестьянским фатализмом: надо – значит, надо. Исправно выполнил всю программу, рассчитанную на семь прыжков разной сложности, совершал вместе со всеми положенные марш-броски, научился рассчитывать и готовить взрывчатку для диверсий, «снимать» часовых, питаться консервами из вспухших банок и всякой иной солдатской премудрости.

В общем, все завершилось для нас благополучно, и мы с песнями вернулись в Москву при отросших усах, с закаленной волей, с чувством превосходства над «гражданскими крысами», а я еще и с окончательным решением любой ценой уйти из издательства.

Первые шаги в разведке

За окном стоял 1958 год. Страна давно уже оплакала Сталина и начала забывать его. Нам было стыдно вспоминать, что столько лет мы не представляли себе жизни без «великого и мудрого вождя», в искреннем горе и страхе за будущее проливали слезы в день его кончины. Мы были наркотированы упорно вбивавшейся мыслью о том, что существующий порядок вещей является единственно возможным, что у него нет альтернативы. Лишь XX съезд коммунистической партии, слегка приоткрывший доступ к кладовой мрачных преступлений Сталина, послужил началом выздоровления нашей памяти и совести. Теперь и страна, и люди становились другими. Самое главное – исчез страх перед неожиданным арестом и бесследным концом. Физический террор отошел в прошлое. В общественном сознании он был осужден как преступление против народа, и никакое правительство уже не могло вернуться к нему. Появились и признаки раскрепощения духовной жизни. Мы зачитывались «Не хлебом единым» Дудинцева, впервые прозвучало вскоре имя Солженицына. Одним словом, всюду шла «оттепель».

Я по-прежнему работал в Издательстве литературы на иностранных языках, активно занимался комсомольской работой – был секретарем комитета комсомола и членом Фрунзенского райкома ВЛКСМ. К этому времени уже поступил в заочную аспирантуру Института истории Академии наук по курсу истории Латинской Америки, чтобы со временем полностью посвятить себя научной работе. Партийная карьера меня не привлекала. Я успел насмотреться на партийных боссов разных рангов, и они внушали мне отвращение.

И вот как-то весной меня вызвали в отдел кадров издательства. Инспектор, кивнув на сидевшего за столом невзрачного человека, сказал: «Вот, с тобой хотят поговорить». И тут же выскользнул за дверь. Мы остались одни. Человек достал из кармана красную книжечку с вытесненными золотом буквами «КГБ» и тихим, спокойным голосом стал расспрашивать о моей работе, планах, здоровье. А потом просто заявил: «Мы за вами наблюдаем давно, люди о вас отзываются хорошо, предлагаем вам перейти на работу в КГБ, а конкретнее – в Первое главное управление. Подумайте до завтра, если примете предложение – позвоните и приходите в отдел кадров». Я молча кивнул в знак согласия.

Беспокойная ночь тянулась долго. Аргументы «про» и «контра» громоздились в мозгу, налезали друг на друга, сложившаяся вроде стройная пирамида их внезапно рушилась и превращалась в бесформенную грудку. Главное, что сдерживало, – это принадлежность разведки к КГБ, за которым упрочилась дурная слава репрессивного органа. Разумом я понимал, что разведка, созданная в 1920 году, была первоначально задумана как прямое продолжение карательных органов, как карающая рука ВЧК, направленная против русского белогвардейского движения, которое эмигрировало за рубеж после неудачной для него гражданской войны. Но ведь с тех пор прошло много времени, давно изменились цели разведки. Уже с 1929 года работа против германского фашизма и его союзников стала главной заботой разведки. А после второй мировой войны СССР превратился в великую мировую державу, за ним стояло целое содружество социалистических государств, разведывательные задачи превратились в глобальные. Они почти не несли запаха репрессий, как в начале 20-х годов. Лишь отдельные террористические акты, проводимые против военных преступников эпохи второй мировой войны, напоминали о преследовании предателей за границей. После убийства С. Вендоры в 1959 году в Германии карательные функции разведки отмерли.

В 1958 году мне, как и многим моим сверстникам, было присуще чувство принадлежности к государству, к обществу, за которыми будущее. Мы выиграли чудовищно трудную войну, непостижимо быстро восстановили разрушения, обрели ядерное оружие, стояли на пороге выхода в космос. Жизнь действительно становилась лучше год от года. Хрущев повернул

в какой-то степени внимание государства к нуждам народа. Впервые началось массовое строительство жилья, производство товаров потребления. Мы смело кидали вызов капиталистическому миру, утверждая, что в мирном соревновании мы непременно победим. Никита Хрущев в США бросил слова: «Мы вас закопаем!», а в программе коммунистической партии записал: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Все трагичные издержки нашей истории после 1917 года были списаны на счет «культа личности», и думалось, что с этим покончено.

Теперь, в новых обстоятельствах, мне стало казаться неразумным хоронить себя в тиши библиотечных кабинетов и заниматься лишь историей чужих народов и стран. Куда заманчивее принять вызов судьбы и отдаться активной работе, острой и опасной, чтобы помочь Отечеству стать могучим и процветающим. Вирус честолюбия не беспокоил меня, спокойно воспринималась мысль о том, что разведчик обрекает себя на безвестность, вечную анонимность.

Наутро решение созрело. Жребий брошен: я иду в разведку! К зданию на Лубянке я подходил не без трепета. В памяти моей с этим зданием не ассоциировалось ничего хорошего.

Вспомнилось, что в 1952 году, когда я заканчивал Московский государственный институт международных отношений и все мы с нетерпением ждали распределения, с одним моим приятелем приключилась беда, связанная с этим зданием. Кто-то из его знакомых недругов решил подшутить над ним, позвонил вечером по телефону и сказал: «Вам звонят из КГБ. Мы здесь рассматриваем ваши документы на предмет использования у нас на работе. Прошу вас приехать сейчас, пропуск заказан в подъезде № 3, спросите у часового». Приятель обомлел, он забыл спросить фамилию звонившего, этаж и номер кабинета. Но послушаться не посмел. Сел в метро и около 11 часов вечера вошел в подъезд № 3 и стал спрашивать у часового о пропуске. Тот, ничего не поняв, вызвал старшего по наряду, который, в свою очередь, пригласил незадачливого визитера в караульное помещение и всю ночь выяснял его личность, цели прихода в КГБ и пр. Лишь к утру исстрадавшийся приятель был отпущен с миром и смог успокоить не менее настрадавшуюся мать.

Я знал все реквизиты своего вербовщика, без труда нашел его, и начался процесс оформления в кадры разведки. Мне было объяснено, что, прежде чем начать работать, надо пройти курс специального обучения в разведывательной школе длительностью два года. Каждому, кого зачисляли на учебу, устанавливали тот уровень зарплаты, который он получал на последнем месте работы. Повсеместно нарушавшийся принцип «от каждого – по способностям, каждому – по труду» в разведшколе вообще был забыт. Разница в содержании слушателей достигала 300 %. Все зависело от того, откуда ты пришел на учебу: в самом выигрышном и привилегированном положении оказывались наши коллеги, пришедшие в офицерском звании из органов КГБ. Гражданские штафирки, вроде меня, стояли на низшей ступеньке.

Учебный курс начался 1 сентября 1958 г. на засекреченном объекте под Москвой. Поток наш насчитывал около 200 человек. Подавляющее большинство курсантов должно было составить пополнение разведки, но часть предназначалась в контрразведку, к пограничникам, в местные органы государственной безопасности. Все кандидаты должны были отвечать главным кадровым требованиям: быть безусловно «преданными делу коммунистической партии», обладать крепким здоровьем и иметь приемлемые способности к изучению иностранных языков. Никакого тестирования психики, проверки силы и быстроты реакции интеллекта не проводилось.

Повальное засекречивание всего и вся приводило к тому, что подавляющее большинство зачисленных в разведшколу до первого сбора 1 сентября в актовом зале не имели точного представления, на что они дали согласие в ходе предварительных бесед. Им говорили, что они идут на важную и ответственную работу, и все. Задавать вопросы, проявлять любопытство вообще не было принято. Это могло кончиться отчислением из списка кандидатов. Поэтому первая встреча с начальником школы генерал-майором Грядневым для многих ока-

залась шоковой. Его слова о разведке, об условиях работы за кордоном, о риске и т. д. привели к тому, что сразу же два-три человека подали рапорт с просьбой освободить их от такой чести. Удерживать их не было никакого смысла. Остальные еще долгое время ходили в каком-то придушенном состоянии. В головах людей стоял опоэтизированный литературно-кинематографический образ разведчика, и многие понимали свою полную неспособность когда-либо приблизиться к этому образу.

Молодость, природный оптимизм, общество таких же цветущих товарищей быстро сделали свое дело. Мы жили оторванно от семей, на казарменном положении в красивом, заросшем лесом поместье, откуда выезжали в Москву только на субботу и воскресенье.

Программа подготовки включала изучение марксизма-ленинизма. Тогда усвоением этой «науки» занималось все население Советского Союза практически в течение всей жизни. К зазубриванию основных постулатов люди относились как к заучиванию расхожих молитв. Затем следовало изучение иностранного языка. Занимались им истово, под руководством хороших педагогов. Но методики преподавания были антикварными, никаких аудио-помощников не было. Фильмы на изучаемых языках были крайней редкостью. Все лингвистические высоты брались только пролетарским упорством.

Спецпредметы, то есть собственно разведывательные дисциплины, такие, как «вербовка агентуры», «связь с агентурой», «специальная оперативная техника», «наружное наблюдение» и пр., преподавали бывшие разведчики, исчерпавшие свой потенциал по различным причинам.

Много внимания уделялось спорту, хотя материально-техническая база для этого была просто жалкой. Приходилось нажимать летом на бег, зимой на лыжи. Маленькую лесную полянку приспособили под футбольное поле, и там азартно колотили друг друга по ногам, закаляя характер и волю. Отдых душе давали в традиционной русской бане.

Весь контингент слушателей был разбит на отделения, 10–15 человек каждое, под командой полковника-воспитателя. Он отвечал перед вышестоящим начальством за нашу успеваемость, политическую безупречность, моральную устойчивость. Одним словом, за все.

Все призванные под знамена разведки молодые люди были уже сложившимися гражданами. Каждый имел высшее образование, гражданскую или военную профессию. Таково было правило, ибо жизнь в разведке сопряжена с немалым риском: тебя могут выслать как персону нон грата, может расшифровать какой-нибудь предатель, ты можешь подхватить какую-нибудь зарубежную хворь, которая станет препятствием для дальнейшей работы. На этот случай человек должен иметь запасные позиции в виде его первоначальной профессии. Почти все, за редким исключением, были семейными. Холостяки в те времена вообще с большой неохотой отпускались за границу из-за опасений, что их жеребьячья неводержанность может привести к беде.

И тем не менее среди этих проверенных, образованных в массе своей людей нет-нет да и происходили так называемые чрезвычайные происшествия, приводившие к отчислениям из школы. Основная часть ЧП была связана со злоупотреблением алкоголем. Суббота и воскресенье всегда оставались самыми опасными днями. Случалось, что загулявший с приятелями слушатель не приходил в установленное время к автобусу, ожидавшему в конспиративном месте, и не являлся в понедельник на занятия. Бывало, какой-нибудь гуляка затевал препирательства с милицией и оказывался вообще за решеткой. А такой исход был почти гарантирован, когда потерявший самоконтроль курсант доставал свое удостоверение Комитета госбезопасности и начинал угрожать «возмездием» охранителям общественного порядка. Это в сталинские времена три буквы «КГБ» внушали страх всем, в том числе и милиции, а теперь частенько сотрудники КГБ становились объектами реванша. Одним словом, наши руководители заранее планировали такую «усушку» и «утруску» в размере 5–8 %.

Слушатели были очень неоднородными по своей подготовке. Приехавшие из провинции оказывались обычно на голову ниже своих столичных сверстников, выходцы из среды сотру-

ников госбезопасности отличались подчеркнутой дисциплинированностью и усердием в учебе, гражданские были, безусловно, эрудированнее и подготовленнее для работы за рубежом. Кто-то из последних, вроде меня, уже успел поработать за границей и прилично знал один иностранный язык, а в школе изучал второй по собственному выбору. Но в целом, спаянные чувством общей судьбы, курсанты держались дружно, внутренние конфликты между ними были крайне редки. Многие остались друзьями на всю жизнь.

Мы быстро и глубоко втянулись в классные занятия, ставшие рутиной. Но когда наступала пора так называемых «городских занятий», эмоциональный накал достигал высшего уровня. В ходе этих занятий слушателям приходилось делать все, как в боевой обстановке в чужом городе. Экзаменуемый стоял какое-то время на открыто просматриваемом месте с ясным опознавательным признаком, например с газетой, свернутой в рулон, в левой руке. Это делалось для того, чтобы бригада наружного наблюдения могла со скрытых позиций идентифицировать человека и установить за ним квалифицированную слежку. Затем в течение отведенного времени слушатель должен был завершить любую цепь естественных, хорошо связанных разработанной легендой действий, чтобы обнаружить за собой наружное наблюдение «противника», установить численность работавшей против него бригады, выявить ее автомашины и описать все это в своем отчете. У нас не было автотранспорта, что сильно усложняло решение задачи, но эта своеобразная игра в кошки-мышки необыкновенно возбуждала. Вхождение в образ разведчика, оказавшегося под наблюдением спецслужб, у одних вызывало растерянность, выражавшуюся в запутанности действий, у других, наоборот, стимулировало повышенную четкость, расчетливость, у третьих провоцировало агрессивность, грубость в поведении.

Задания с каждым разом усложнялись. Сначала надо было после выявления наружного наблюдения незаметно, естественно «оторваться», ускользнуть от него. Затем провести под наружным наблюдением, но обязательно незаметно для наблюдающих передачу малогабаритных материалов предполагаемому «агенту», с которым заранее отрабатывались все детали операции по приему-передаче. К тому же сделать это надо было так, чтобы у следовавших по пятам сыщиков не возникло даже тени подозрений, что «агент» имеет какое-то отношение к разведчику. Потом требовалось «обработать тайник», то есть заложить либо изъять материалы из тайника, опять-таки действуя под наружным наблюдением. Таким заданиям нет конца, в ходе их отрабатываются все элементы реальной разведывательной работы. Помнится, каково было облегчение, когда удавалось по неопровержимым признакам установить, что слежка за тобой действительно идет. Теперь хозяином положения становился разведчик. Используя богатый арсенал тактических элементов, он, как рыбак, постепенно подтягивал к себе подсеченную на крючке рыбу, выявляя всю бригаду наружного наблюдения.

И нет ничего хуже, чем не видеть «противника». В этом случае разведчик никогда не знает наверняка, есть за ним слежка или нет. Вероятно, ее просто нет, а может быть, он ее не видит? Понадеяться на авось – значит провалиться на практике; до бесконечности сомневаться – значит подвергать свою психику опасному перенапряжению. Начнут мерещиться преследователи там, где их нет, а отсюда один шаг до срыва.

В подавляющем большинстве случаев мы справлялись с задачами вполне успешно. А сколько было восторженных рассказов о хитроумных приемах раскрытия слежки, изобретательных уходов от нее! Вообще надо сказать, что овладение специальными дисциплинами, то есть техническим инструментарием разведчика, шло успешно. Гораздо сложнее обстояло дело с изучением иностранных языков. Начинать учить чужой язык впервые в жизни в 30-летнем возрасте – дело малорентабельное. Свободного владения им достичь практически невозможно. Поэтому и в школе, и потом, в разведке, подлинное, раскованное владение языком было редкостью. Большинство без затруднений объяснялись, понимали содержание высказываний собеседника, относительно свободно читали, но все-таки не улавливали многих

нюансов, теряли скрытый смысл, не понимали регионализмов, сленговых выражений и т. д. Мне было проще, я в 1953–1956 годах успел побывать в командировке в Мексике, а в Издательстве литературы на иностранных языках моим постоянным окружением были испанцы-переводчики, редакторы, корректоры, с которыми мы говорили только на их родном языке. Я и сейчас теплею сердцем, когда вспоминаю этих милых, добрых невольных учителей моих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.